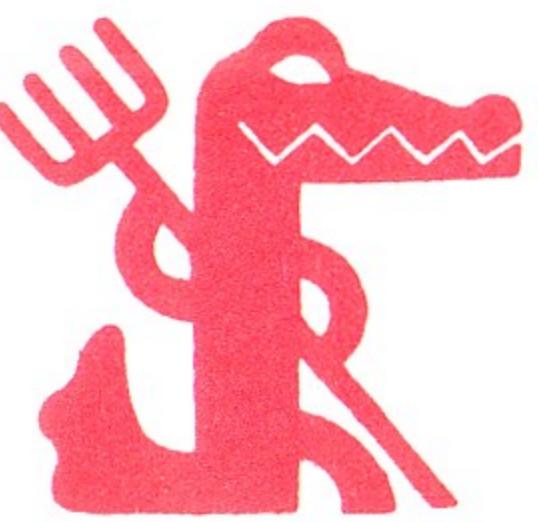


Цена 25 коп.

Индекс 72996



БИБЛИОТЕКА
КРОКОДИЛА

13
(810)



Евгений ЕВТУШЕНКО

КОМПРОМИСС
КОМПРОМИССОВИЧ



Творчество поэта Евгения Евтушенко лишний раз подтверждает, насколько условно, а иногда и неправомерно разложение поэзии по жанровым полочкам (литерическим, ироническим, сатирическим и т. д.).

В этой книге собраны под одной обложкой те стихотворения, гармония которых сложена из нот всей поэтической октавы, но в которых сатирические ноты звучат слышнее, чем в других стихотворениях поэта.

БИБЛИОТЕКА КРОКОДИЛА № 13

Евгений ЕВТУШЕНКО

КОМПРОМИСС КОМПРОМИССОВИЧ

Дружеский шарж и рисунки М. СКОБЕЛЕВА

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1978

ЮМОР



Цари,
короли,
императоры,
властители всей земли
командовали парадами,
но юмором —
не могли.
В дворцы именитых особ,
все дни возлежащих выхоленно,
являлся бродяга Эзоп,
и нищими
они выглядели.
В домах, где ханжа наследил
своими ногами щуплыми,
всю пошлость
Ходжа Насреддин
сшибал,
как шахматы,
шутками.
Хотели
юмор
купить,
да только его не купишь!
Хотели
юмор
убить —
а юмор

показывал
кукиш!
Бороться с ним —
дело трудное.
Казнили его без конца.
Его голова отрубленная
качалась на пике стрельца.
Но лишь скомороши дудочки
свой начинали сказ,
он звонко кричал:
«Я туточки!» —
и лихо пускался в пляс.
В потрепанном куцем пальтишке,
понурясь
и вроде каюсь,
преступником политическим
он,
пойманный,
шел на казнь.
Всем видом покорность выказывал,
готов к неземному житью,
как вдруг из пальтишка
выскальзывал,
рукою махал,
и тю-тю!
Юмор
прятали
в камеры,
но черта с два удалось:
решетки и стены каменные
он проходил насквозь.
Привык он ко взглядам сумрачным,
но это ему не вредит,
и сам на себя с юмором
юмор порой глядит
Он вечен.
Он ловок и юрок,
пройдет через все,
через всех.
И так,
да славится юмор.
Он
мужественный человек.



МИЛЫЕ ЛЮДИ

«Будут милые люди...» —
мне в уши жужжа,
приглашают на ужин меня,
как ежа,
мои иглы заранее придержа,
дав понять нежелательность мятежа...
Я устал
от засилия «милых людей»,
без торчащих из них
остриями гвоздей.
В этой ватной
приватной
пустой болтовне
не с кем
хоть бы иголкой
царапнуться мне!
Я вхожу.
Я стараюсь быть милым ежом.
Мне иголки не спиливают ножом,

но на них натыкают куски шашлыка,
чтобы если кололись они,—
то слегка.
Где иголки у этих людей?
Где углы?
Как они тошнотворно милы
и круглы!
Аnekдотом кончается
их прогрессизм,
да какой прогрессизм —
угостилизм,
пригласизм!
Проколоть они могут лишь вилкой —
грибки.
Были раньше — ежи,
а теперь — колобки.
И от волка ушли,
и ушли от лисы,
и гордятся,
что все-таки не подлецы.
Но как будто могучий,
липучий магнит,
все их бывшие иглы
повытянул быт.
Так ли страшен злодей,
если ясен злодей?
Как спастись от неясных
«прекрасных людей»?
Ухожу,
оставляя их маленький мир,
а восслед:
«Ну, не правда ли, милый,— он мил...»
И как будто бы знамя,
полночную мглу
одиноко
накалываю
на иглу.

1977



В ГОСТИНИЦЕ ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ

В гостинице провинциальной,
где к ванной был привинчен
сальник,
чтоб не сбежала, номерок,
по стенам ползали в излишке
клопы и шишкунские мишки... —
у нас никто не одинок.
Но был подход принципиальный
в гостинице провинциальной
ко всем гостям в их мятежах,
пусть даже скромных — против
правил.

А соблюденье кто возглавил?
Дежурные на этажах.
Они, с могучими задами
и с видом важного заданья,
в любой входящей в номер
даме
угрюмо видели врага,
тая зловещее: «Ага!»
Я жил однажды в полулюксе.
Он был обставлен в полном
вкусе
тех давних лет, когда, мой друг,
мы так боялись узких брюк.
Хоть были правила и строги,

ко мне, как будто сквозь штыки,
проникла девушка со стройки
и принесла свои стихи.
Присев на краешек дивана,
она на краешек стола
тетрадку ткнула деревянно
и ватник даже не сняла.
Ей было лет семнадцать, что ли...
Смущенный взгляд вдавили в пол
и красноплющевые шторы
и на чёрнильнице орел.
Раскрыв тетрадочку в линейку,
украдкой я осознавал,
как был прекрасен — льна

льнянее —
на ватник льющийся обвал.
Стихи, к несчастью, были плохи,
но что-то в строчках прорвалось
и от страны, и от эпохи,
и от обвала тех волос.

Движенья гости были хрупки,
и краска склынула с лица.
Так у нее дрожали руки,
что возгордился я слегка.
Я, что-то важно изрекая,
был по-отцовски нежно тверд:
«Что у вас, девушка, с руками?
Да вы не бойтесь... Я не черт...»
Но, сдув со лба льняную прядку,
не подняла она свой взгляд:
«Я не боюсь. Они с устатку
от перфоратора дрожат...»
И вдруг она чуть покачнулась
и на бок тихо прилегла,
полузаснув, полуочнувшись,
но и очнуться не смогла.

А дрожь не отпускала пальцы,
мой гордый вид сведя к нулю,
и шепот на пол осыпался:
«Я лишь немножечко посплю...»
Ее укрыл я одеялом,
с каким-то в сердце колотьем
над ней склонившись, как
над малым,
но так измученным дитем.

И вдруг звонок со сладкой
злостью:

«Дежурная по этажу.
Прошу покинуть номер гостю.
Спит? Ничего, я разбуджу...»
Я вышел. Мне она навстречу,
кипя гражданственною речью,
и, как индейские вожди,
в орлиных перьях бигуди.
Я объясняю...

«Ах, устала?!

Я представляю — от чего...»

И вдруг величественным стало
ее чугунное чело.

Мне прошипев: «Мы
не в Европах...»,

она взрычала, в дверь вбежав...

О, перед вами каждый робок,
дежурные на этажах!

Струхнули шишкиские мишки
на это чудище напасть.

Так из плюгавенькой властишки
растет диктаторская власть.

Мы шли по лестнице под градом
безарной браны и угроз,
и так поник со мною рядом —
льнянее льна — обвал волос.

Кричала, молнии метая:

«Я кому надо доложу!» —

как современная святая,
дежурная по этажу.

В своей ливреечке потертой,
чуть-чуть ключами побряцал,
но: «Ей бы, парень, дать

пятерку...» —

сказал зевающий швейцар...

Снесли гостиницу с клопами,
и мишки Шишкина в опале.

Они безвинно не попали
в отель из стали и стекла.

Там пылесосы из Чикаго,
там и грузинская чеканка,
и блещут баров зеркала.

Но в сапогах — уже чулочных,
при тех же бюстах

крупноблочных,
при тех же взглядах непорочных
и всех гостей держа в вожжах,
как управляющие честью,
взирают, хищно когти чистя,
дежурные на этажах.
Теперь уже в их гардеробах
есть почти все, что есть

в Европах.

Эдгара По, Эжена Сю

не надо им — лишь «Кента»

пачку.

Жуя подаренную жвачку,
расхаживают чуть враскачу
и даже «спикают» вовсю.

Они все знают про Нью-Йорки,
не забывая про пятерки.

Есть широта души в ханжах!
Все изменяется на свете —
не изменяются лишь эти
дежурные на этажах.

Скажите все, кто не безгрешен,
но кто нисколько не замешан
ни в грабежах, ни в кутежах,
все те, кто хоть во что-то верит:
что в нас вселяет трепет

перед
дежурными по этажам?!

1976

ДИТЯ-ЗЛОДЕЙ

Дитя-злодей встает в шесть тридцать,
литой атлет,
спеша попрыгать и побриться
и съесть омлет.
Висят в квартире фотофрески
среди икон:
Иисус Христос в бродвейской пьеске,
Алан Делон.
На полке рядом с шведской стенкой
Ремарк,

Саган,
брошюрка с йоговской системкой
и хор цыган.
Дитя-злодей влезает в «троллик»,
всех раскидав,
одновременно сам и кролик
и сам удав.
И на лице его бесстрастном
легко прочесть:
«Троллейбус —

временный мой транспорт,
прошу учесть».
Он с виду вроде бы приличен —
не хлюст, не плут,
но он воспринял как трамплинчик
свой институт.
В глазах виденья,
но не бога:

стриптиз и бар,



Нью-Йорк,

Париж

и даже Того

и Занзибар.

Его зовет сильней, чем лозунг

и чем плакат,

вперед и выше —

бесполосный

сертификат.

В свой электронный узкий лобик

дитя-злодей

укладывает,

будто в гробик,

живых людей.

И он идет к своей свободе,

сей сукин сын,

сквозь все и всех,

сквозь «everybody»,

сквозь «everything».

Он переступит современно

в свой звездный час

лихой походкой супермена

и через нас.

На нем техасы из Техаса,

кольцо из Брно.

Есть у него в Ильинке хаза,

а в ней вино.

И там в постели милой шлюшки

дитя-злодей

пока играет в погремушки

ее грудей...

1974



* * *

Наполеон сказал: «Сарделек пару...»
Советский рубль он вынул из лосин,
потом присел к электросамовару,
распутина в соседи пригласил.
Еще одна прелестная подробность:
вбежал Малюта, бросил: «Сигарет...»
Печальная, забавная загробность.
Почти тот свет.

Мосфильмовский буфет.

1976



КАНИБАЛ НА КУРОРТЕ

Всю ночь сырое мясо снилось мужу,
когда его в тяжелый сон свалило,
как будто прямо в кровянную лужу,
где плавали баранина,
свинина.

Потом сидел он хмуро на веранде
и поглощал курортный скучный завтрак —
пигмей в почти гигантском варианте,
бессмысленно и тупо динозаврист.
Ему хотелось шашлыка по-карски,
официанта в трепетном поклоне,
немножко ласки и немножко сказки,
где он —

Иван-дурак на царском троне.
Ему хотелось быть большим начальством,
за убежденья

выдать закоснелость.

Хотелось обладать таким нахальством,
чтобы нахальство приняли за смелость.
Хотелось впечатлений заграничных,
пощупать лично небоскребов стены,
под соусами зрелищ неприличных
проглатывать нотрдамы и бигбены.
Хотелось лавров и хотелось денег.
Надменно отдыхающий на юге
шел каннибал под ручечку

с виденьем
уже давно им съеденной супруги.

1974



ФЕНЯ

«Мне, в общем, все
до Фени...» —

ходячие слова,
усмешка сытой лени
с оттенком хвастовства.
Ты кто такая, Феня?
В каких живешь местах?
Ты ведьма или фея?
Буфетчица в летах?
Ты толстая бабища
с усами над губой,
как будто бы гробище,
громоздкая собой.
На недопитой пене,
на всем, что пьют и жрут,
составила ты, Феня,
сама себе уют.
Ты в кооперативе
приятственно блудишь
и с мордою кретинки
на Штирлица глядишь.
Ты пахнешь пирогами
в нагретом неглиже.
При克莱ешься губами —
не вырваться уже...

1974



БОГАТЫРЬ

Если б собрать все то, что

выпил и слопал он,

цирк будет мал — это точно.

Требуется стадион!

Одну бы трибуну Северную

заняли, как молодцы,

им на закуску съеденные

соленые огурцы.

Одну бы трибуну Западную

пришлось бы тогда отвести

под сизые, уксусом залитые

селедочные хвосты.

Одну бы трибуну Южную,

пройдя сквозь его кишки,

заполнили луком навьюченные

воскресные шашлыки.

Одну бы трибуну Восточную

набили наверняка

совместно с подливкой чесночною

румяненькие «табака»...

Какое пищеварение!

Геракл! Гулливер! Лукулл!

Все то, чем пичкаю время,

переварил — не икнул.

А если бы на поле футбольное

в майках наклеек цветных

поставить бутылки, довольные

тем, что он выпил их,

то гордо под звуки оркестра,

попахивая, как скипидар,

встанут «Московская», «Экстра»,

«Вермут» и «Солнцедар».

Пройдут спортивной походкой,

знамена неся над собой,

«Кубанская», «Старка», «Охотничья»,

«Калгановая», «Зверобой».

Шампанское из Артемовска,

Ростова,

Тбилиси,

Баку

пройдут,

присоседясь для тонуса

к армянскому коньяку.

Все цинандали и рислинги,

что-то крича от души,

промаршируют, кисленькие

на опохмел хороши.

Нельзя сказать, что изысканный,

но в общем-то право мил,

в обнимочку ром египетский

пройдется с «Лифбраумилх».

Портвейны, для печени пагубные,

пройдут — все в медалях сплошь,

и вина фруктово-ягодные

из старых штиблет и галош.

Пристроится за колоннами,

заканчивая парад,

флакончики одеколонные

и даже денатурат.

Какие печень и почки!

Какой мочевой пузырь!

Вот мужество одиночки.

Вот истинный богатырь.

Но если б хотели вы записи

всех мыслей его собрать —

особый он гомо сапиенс.

Была бы ненужной тетрадь.

Хватило б наклейки с пива,

и та бы просторной была.

Пишите, товарищ Пимен:

«Шайбу!» И все дела.

1974

ИНФАНТИЛИЗМ

Мальчик-лгальчик,
подлипала,
мальчик спальчик с кем попало,
выпивальчик,
жральчик,
хват,
мальчик,
ты душию с пальчик,
хоть и ростом дылдоват.
Надувальчик,
продавальчик,
добывальчик,
пробивальчик,
беспечальник,
хамом хам,
ты, быть может, убивальчик
в перспективе где-то там.
Неужели,
сверхнахальчик,
книг хороших нечитальчик,
если надо —
то кричальчик,
если надо —
то молчальчик,
трусоват,
как все скоты,
ты еще непонимальчик,
что уже не мальчик ты?



1974

В ОДНОЙ «КОМПАШКЕ»

Все смешки,
смешки,
смешки,
все грешки,
грешки,
грешки,
грязненъкие,
сальные.
Почему так тешат всех
общий смех
и общий грех —
свальные,
повальная?
Начинаешь говорить —
начинают гомонить,
предлагают выкушать.
Чуткость взял себе радар.
Стал таким редчайшим дар —
человека выслушать.
Ставший на ухо тугим,
невнимательный
к другим,
человек изматывается
из-за чьей-то
с холодком
или с шумным хохотком
невнимательности.
Разве
в том крутеже
слух,
 отзывчивость —
уже
ложные условности?
Что случилось,
брат-поэт?
Смеха много —
эха нет.
Чувство беззиковности.

1974

ВОСПОМИНАНИЕ О ПОРТУГАЛИИ

Я
в шестьдесят шестом
был в Лиссабоне
(а как достал я визу —
мой секрет).
Я был на мрачном фоне черных лет
единственный, пожалуй, на свободе
в тогдашней Португалии поэт.
Мне разрешили выступить,
но прежде
меня просили к цензору зайти
и показать стихи мои,
в надежде
в них что-нибудь излишнее найти.
Из-за тогда стоявших дней ненастных
и у меня
и цензора
был насморк.
Мы сразу тему общую нашли
по поводу соплей своих излишних,
и оба из своих пипеток личных
одно и то же капали в носы.
В приятной тишине,
а не при гвалте
в стихи вникал он,
как в бюджет бухгалтер.
И, ощущая некий неуют,
вздохнув,
поставил галочку исправно:

«...Но говорить —
хоть три минуты —
правду.

Хоть три минуты —
пусть потом убьют!»

Он зашмыгнул носом виновато:
«Стихи о Кубе — тема скользковата.
Аллюзии...

Прошу вас не читать...» —
И начал с извинением чихать.
Овычишавшись,
он сказал прищурясь:
«Не запрещаю —
именно прошу вас.

Я тоже человек, а не злодей.
Грех подвести,—
в кулак чихнул усердно,—
милейших устроителей концерта,
меня
и прочих маленьких людей».

Я не подвел.
Договоренность выполнил.
Зато в других стихах такое выпалил,
что, люстры закачав на потолке,
чуть-чуть смешно,
наивно и счастливо
«Толстой, Гагарин, Евтушенко — вива!»
плакат взметнулся в молодой руке.

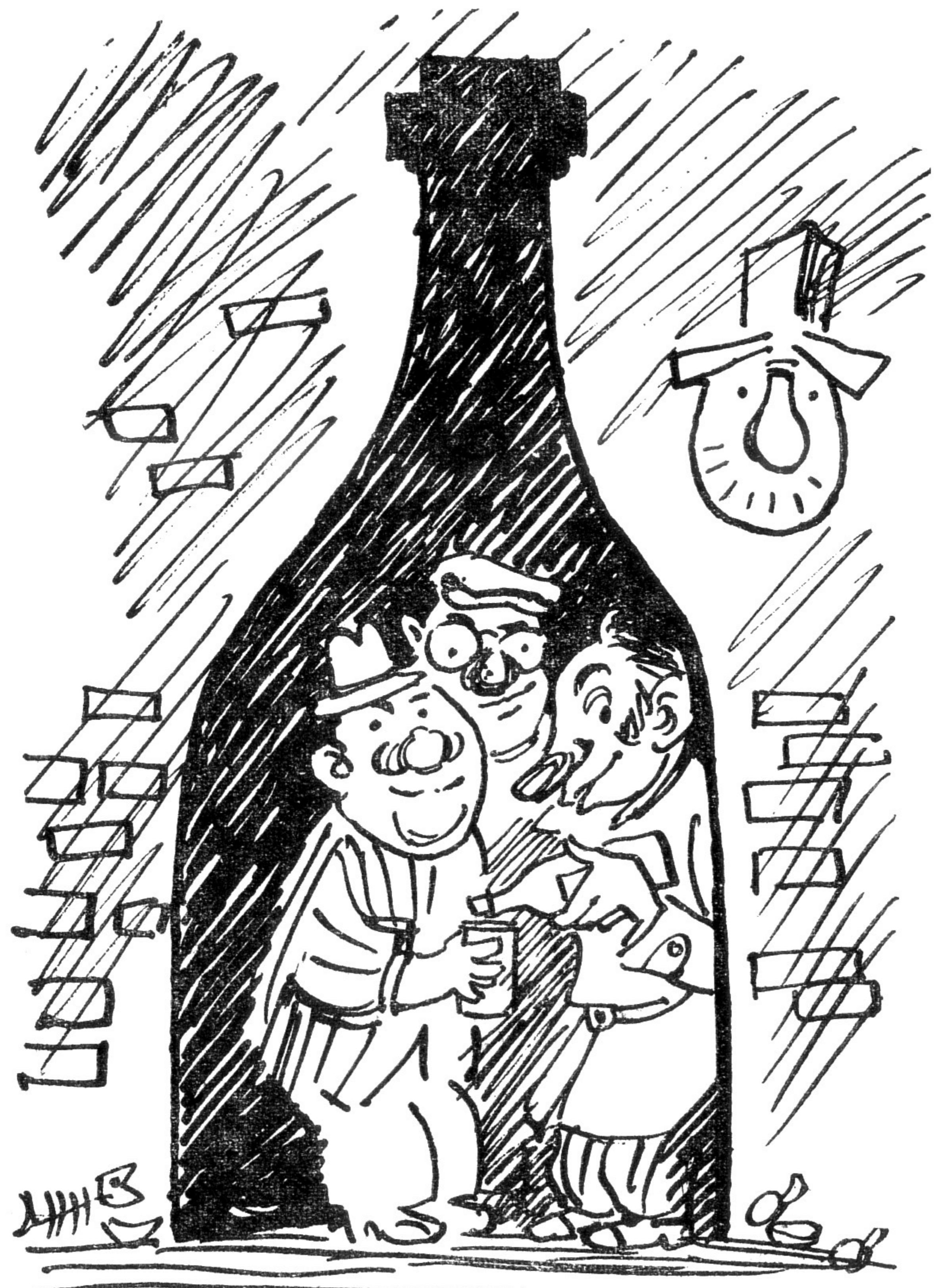
Я
революции
не экспорттировал.
Я цензора не шлепнул наповал,
и мне никто задания партийного,
что там читать,—
ей-богу, не давал.
Но счастлив я надеждой —
впрочем, жизненной,—
на то, что хоть одна моя строка
светилась
в ночь свержения фашизма
в сверкающих глазах
броневика...



* * *

Для повестей фривольных,
для шаловливых муз
французский треугольник:
жена, любовник, муж.
Но как ты страшен, горек
в продмагах и пивных:
наш грустный треугольник —
пол-литра на троих.
Пол-литра — пол-литрушка,
ты наших жен умней.
Ты дура-потаскушка,
разбитчица семей.
Тебя разбить нетрудно,
за грόши, за гроши
нас превращаешь в трупы —
разбитчица души.
В подъездах чьи-то тени
маячат, спички жгут,
как бледные растенья,
что орошенья ждут.
Взлетают ввысь ракеты,
а где-то у ворот
сивушный дух трагедий
из подворотен прет.
Мольба простая эта
Глафир и Евдокий:
«Не пей!» —
звукит как эхо
завета
«Не убий!».

1973





ИЗВИНИТЕ, НЕКОГДА

Пострашнее невода
для людей, как рыб,
«Извините, некогда...» —
мертвых губ изгиб.
Выслушают, нехотя,
ускользнут опять.
Извините, некогда
мне вас извинять.
Где тот гневный некто,
кто пробудит стыд?
«Извините, некогда...»
на костях стоит.

1974

КОМПРОМИСС КОМПРОМИССОВИЧ

Компромисс Компромиссович
шепчет мне изнутри:
«Ну не надо капризничать.
Строчку чуть измени».
Компромисс Компромиссович
не палач-изувер.
Словно друг,

крупно мыслящий,
нас толкает он вверх.
Поощряет он выпивки,
даже скромный разврат.
Греховодники выгодны.
Кто с грешком —

трусоват.
Все на счетах высчитывая,
нас,

как деток больших,
покупает вещичками
компромисс-вербовщик.
Покупает квартирами,
мебелишкой,
тряпьем,
и уже не задиры мы,
а шумим —

если пьем.
Что-то —

вслушайтесь! —

щелкает
в холодильнике «ЗИЛ».
Компромисс краснощекенький
зубки в семгу вонзил.
Гномом,

вроде бы мизерным,
компромисс-бодрячок
иногда

с телевизора
кажет нам язычок.
«Жигули» только куплены,
а на нитке повис —
как бесплатная куколка —
хитрован компромисс.

Компромисс Компромиссович
как писатель велик —
автор
душу пронизывающих
сберегательных книг.
Компромисс Компромиссович,
«друг»,
несущий свой крест,
мягкой,
вежливой крысочкой
потихоньку нас ест...

1972



РЕВНОСТЬ

Бессмысленно мужей ревнуют жены,
бессмысленно мужья ревнуют жен,
и воздух браков, злобой зараженный,
как будто на границе, напряжен.

В любви вдвойне скандал дешевый низмен,
невыносим супружеский бедлам,
и ревность нечто вроде шовинизма
или «Моя игрушка! Не отдаш!»

Достойней будьте:... Что кричать,
окрысясь!
Скажите: «Ты не любишь? Бог с тобой!»
Но ревность создает посудный кризис
и с кислотою серной перебой.

На что глядят родимые рябины,
когда дерутся под «Шумел камыш»?
Ну хоть бы ревновали, но любили.
А то ревнуют, а не любят. Шиш!

Чем пахнет ревность? Дустом, керосином..
Напрасно утешаемся подчас,
что было бы совсем невыносимо,
когда б совсем не ревновали нас.

Есть в ревности жандармщины пружина,
уж лучше горе выплакать навзрыд,
но дух зажима — слабина режима:
история народа говорит.

О собственники мрачные, не дуйтесь.
Греша, смешно мораль преподавать.
От собственного злобства расколдуйтесь —
потом пытайтесь жен приколдовать.

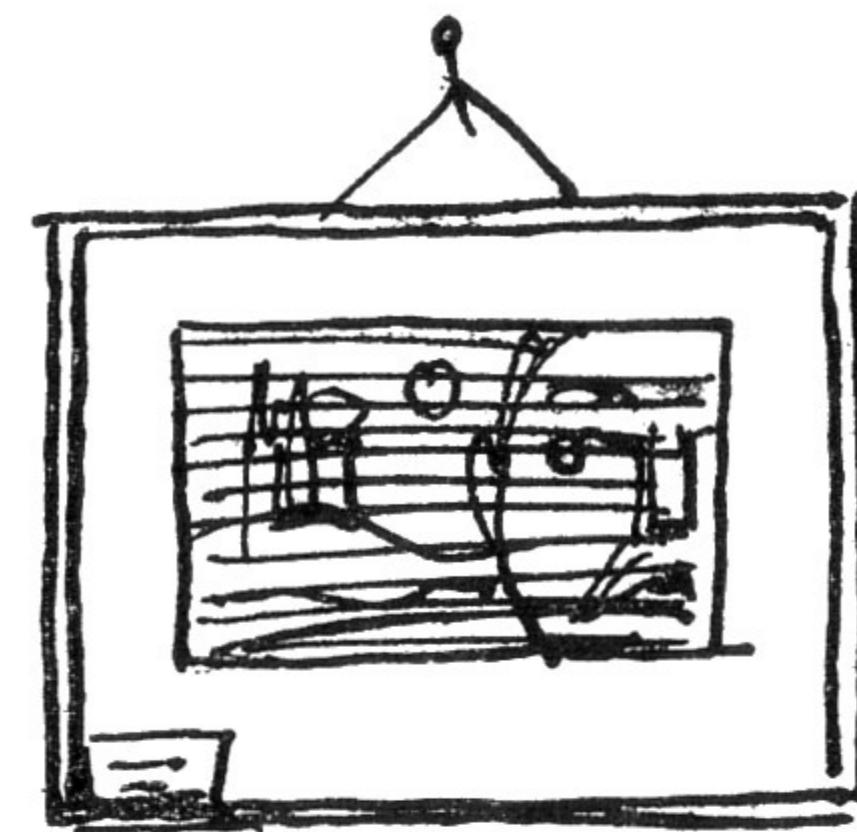
О собственницы милые, умерьте
пыл в перебранках — кто во что горазд.
К сопернице одной ревнуйте — к смерти.
Когда она отнимет — не отдаст.

1972



ТАРАКАНЫ

Тараканы в высотном доме —
бог не спас,
Моссовет не спас.
Все в трагической панике,
кроме
тараканов,
штурмующих нас.
Адмиралы и балерины,
физик-атомщик и поэт
забиваются под перины,
тараканоубежища нет.
На столе у меня ода —
тяжкий труд,
а из мусоропровода
гости прут.
Только Зыкина запела,
с потолков
подпевать пошла капелла
prusаков.
Композитор Богословский
взял аккорд,
а на клавиш вспрыгнул скользкий
рыжий черт.
Тараканы тихони,
всеедны,
археологи грязных посуд.
Тараканы-искусствоведы
по настенным гравюрам ползут.



Тараканы,

на нашу набережную
в дом-гигант на Москва-реке
вы с какою старушкой набожной
тихо въехали в сундучке?
И, воспитанная веками,
применяет угрозы и лесть
психология тараканья
тех,
чья формула эта — пролезть.
На словах этот парень, как витязь,
он за правду пойдет на таран,
но какая-то в нем
глянцевитость.

Осторожнее —
таракан!

Плагиаторы,
вкусно похрумкивающие,
не посыпаные порошком,
тараканы,
стишки похрюкивающие,
в шапках пушкинских —
пиццой.

Развлекательство,
развлечательство,
ресторанное «Эге-гей»
угрожающе резво катится
на эстрады из всех щелей.
Вся бездумщина,

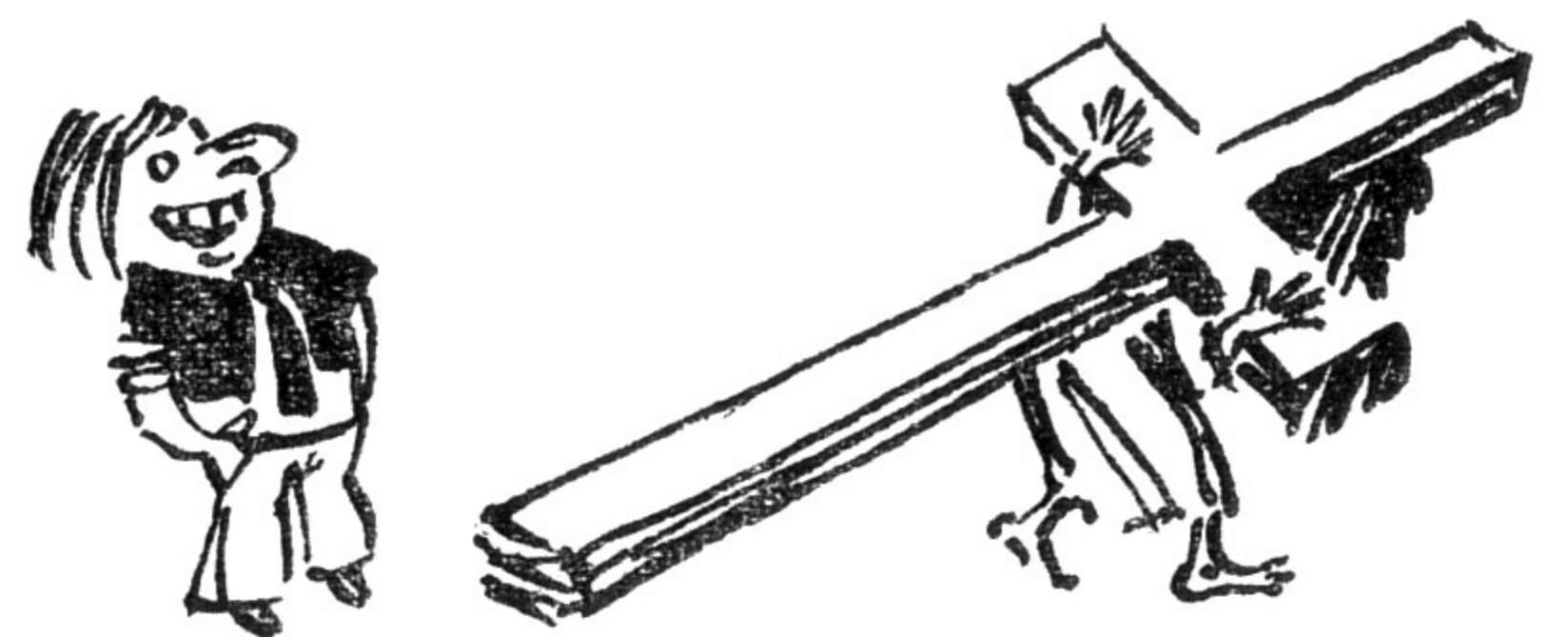
вся цыганщина.
весь набор про сердца на снегах —
это липкая тараканщина
с микрофонами в лапках-руках.
Надо нашему дому очиститься.
Дело будет, товарищи, швах,
если взмоют ракеты космические
с тараканами,

скрытыми в швах.
Больше дусту сыпьте, товарищи,
если пакостно пробрались
тараканы и тараканища
в дом высотный —

в социализм.

1971





«ЗАСТЕНЧИВЫЕ» ПАРНИ

Есть новый вид застенчивых парней:
стесняются быть чуточку умней,
стесняются быть нежными в любви.
Что нежничать — легли, так уж легли.

Стесняются друзьям помочь в беде,
стесняются обнять родную мать.
Стараются, чтоб их никто нигде
не смог на человечности поймать.

Стесняются заметить чью-то ложь,
как на рубашке у эпохи — вошь,
а если начинают сами лгать,
то от смущенья, надо полагать.

Стесняются быть крошечным холмом,
не то чтобы вершиной: «век не тот...»
Стесняются не быть тупым хамлом,
не рассказать пошлый анекдот.

Стесняются, чья совесть нечиста,
не быть Иудой, не продать Христа,
стесняются быть сами на кресте —
неловко как-то быть на высоте.

Стесняются карманы не набить,
стесняются мерзавцами не быть,
и с каждым днем становится страшней
среди таких застенчивых парней.

1971

ПОЭЗИЯ КАК ШПИОНАЖ

В Пекине жгли мое чучело,
подвешенное шпаньем.

Пламенем надпись крючило:
«Американский шпион».

В Америке жгли мое чучело —
какой двусторонний шаблон!
Надпись не очень-то мучила:
«Красный советский шпион».

А я улыбался насмешливо,
нисколечко не сердит:
поэт — это тот, кто между
двух грязных стульев сидит.

Не удивляясь домыслам
низкого на земле,
я поражался доблестям
близкого мне Е. Е.

В прачечных или в булочных,
впрочем, во все века
поэты — шпионы будущего.
Это оно — их ЧК.

Очень высокого качества
нам сообщил, например,
сведения стукаческие
об Одиссее Гомер.

Ну, а Шекспир всем нациям
верно служил, как пес.

В веке своем, в семнадцатом,
он на двадцатый донес.
Приобретаю навыки.
Расту, как шпион.
Авось, мы потомкам на ухо
чего-нибудь да шепнем...

1968

Над кранами, над баржами, над слизями,
ну, а точнее — прямо над крюком,
крича, металась ласточка со всхлипами:
так лишь о детях — больше ни о ком.

И увидел Сысоев, как пошатывал
в смертельной для бескрылых высоте
гнездо живое, теплое, пищавшее,
на самом верхнем шиферном листе.

Казалось, все Сысоеву до лампочки.
Он сантименты слал всегда к чертям,
но стало что-то жалко этой ласточки,
да и птенцов — детдомовский он сам.

И, не употребляя выражения,
он, будто бы фарфор или тротил,
по правилам всей нежности скольжения
гнезда на крышу склада опустил.

А там, внизу, глазами замороженными,
а может, завороженными вдруг
глядела та зараза-маркировщица,
как бережно разжался страшный крюк.

Сысоев сделал это чисто, вежливо,
и краном, грохотовшим в небесах,
он поднял и себя и человечество
в ее зеленых митильных глазах.

Она уже не ежилась под ситчиком,
когда они пошли вдвоем опять,
и было, право, к методам физическим
Сысоеву не нужно прибегать.

Она шептала: «Родненький мой...» — ласково.
Что с ней стряслось, не понял он, дурак.
Не знал Сысоев — дело было в ласточке.
Но ласточек помог он просто так.

1967

БАЛЛАДА О ЛАСТОЧКЕ

Вставал рассвет над Леной. Пахло елями.
Простор алел, синел и верещал,
а крановщик Сысоев был с похмелья
и свои чувства матом выражал.

Он поднимал, тросами окольцованные,
на баржу под название «Диоген»
контейнеры с лиловыми кальсонами
и черными трусами до колен.

И вспоминал, как было мокро в рощице
(На пне бутылки, шпроты. Мошкова.)
и рыжую заразу-маркировщицу,
которая ломалась до утра.

Она упрямо съежилась под ситчиком.
Когда Сысоев, хлопнувши сполна,
прибегнул было к методам физическим,
к физическим прибегнула она.

Деваха из деревни — кровь бунтарская! —
она (быть может, с болью потайной)
маркировала щеку пролетарскую
своей крестьянской тяжкой пятерней...

Сысоеву паршиво было, муторно.
Он Гамлету себя уподоблял,
в зубах фиксатых мучил «беломорину»
и выраженья вновь употреблял.

Но, поднимая ввысь охапку шифера,
который мок недели две в порту,
Сысоев вздрогнул, замолчав ушибленно,
и ощущил, что лоб его в поту.

ПРОКЛЯТЬЕ ЧЕРНОЙ ПРЕССЕ

Посвящается писакам из «Speccio»,
«Popolo» и им подобным.
Проклятье газетам —
вонючим клозетам!
Проклятье газетам —
бандитским кастетам!
Газетчики,
кто вы?
Вы призраки Гойи?
Вы пишете кровью,
но только чужою.
Считать чепушинкой
привыкли вы,
судьи,
когда пишмашинкой
расстреляны люди.
Вбивайте,
хрустя,
да только уж поздно,
в ладони Христа
авторучки,
как гвозди!
Над горестным прахом
казненных наветами
пусть пишут всю правду:
«Убиты газетами?»
Над всеми поэтами,
что оклеветаны,
«...убиты газетами...»,
«...убиты газетами...».

1965



БАЛЛАДА О БРАКОНЬЕРСТВЕ

Несмотря на запрещение, некоторые рыболовецкие артели ведут промысловый лов рыбы сетями с зауженными ячейками. Это приводит к значительному уменьшению рыбных богатств.

(Из газет).

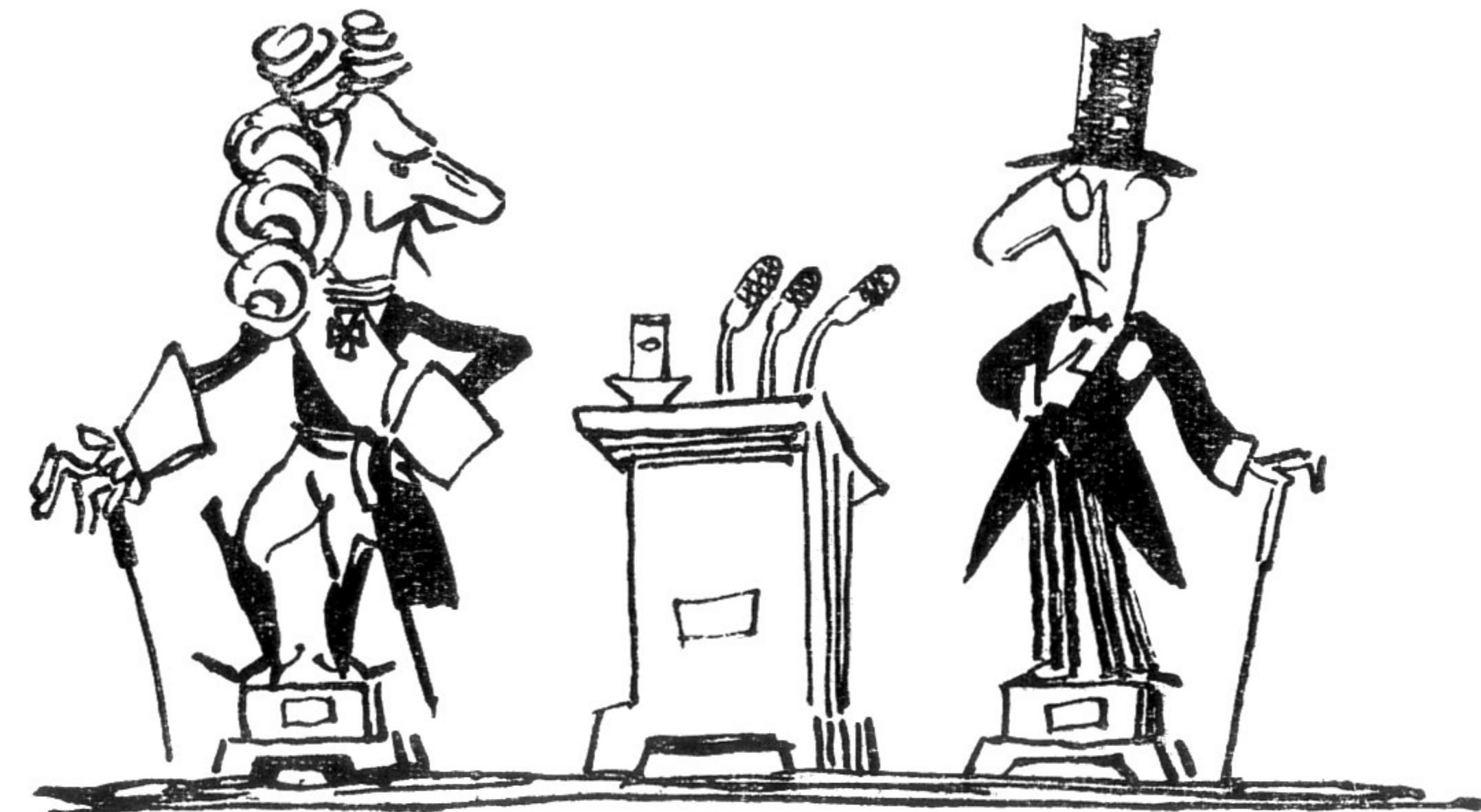
Киношники и репортеры
просто насквозь пропотели,
снимая владыку Печоры —
тебя, председатель артели,
лицо такое простое,
улыбку такую простую,
на шевиотовом лацкане
рыбку твою золотую.
Ты куришь «Казбек», председатель.
Ты поотвык от махорки.
Шныряют везде по Печоре
твои, председатель, моторки.
Твои молодцы расставляют,
где им приказано, сети.
В инязе и на физмате
твои, уже взрослые дети.
И ты над покорной Печорой,
над тундрой, еще
красиво стоишь, председатель,
взаправду владыка владыкой.

И звезды на небе рассветном
 тают крупинками соли,
 словно на розовой, сочной,
 свежеразрезанной семге.
 Под рамками грамот почетных
 в пышной пуховой постели
 праведным сном трудолюба
 ты спиши, председатель артели.
 В порядке твое здоровье.
 В порядке твои отчеты.
 Но вслушайся, председатель,—
 доносит шепот с Печоры:
 «Я семга.
 Я шла к океану.
 Меня перекрыли сетями.
 Сработано было ловко!
 Я гибну в сетях косяками.
 Я не прошу, председатель,
 чтобы ты был церемонным.
 Мне на роду написано
 быть на тарелке с лимоном.
 Но что-то своим уловом
 ты хвалишься слишком речисто.
 Правда, я только рыба,
 но вижу — дело нечисто.
 Правила честной ловли
 разве тебе не знакомы?
 В сетях ты заузил ячейки.
 Сети твои незаконны!
 И ежели невозможно
 жить без сетей на свете,
 то пусть тогда это будут
 хотя бы законные сети.
 Старые рыбы впутались —
 выпутаться не могут,
 но молодь запуталась тоже —
 зачем же ты губишь молодь?
 Сделай ячейки пошире —
 так невозможно узко! —
 пусть подурачится молодь,
 прежде чем стать закуской.
 Сквозь чертовы эти ячейки
 на вольную волю жадно



она продирается все же,
 себе разрывая жабры.
 Но молодь, в сетях побывавшая,—
 это уже не молодь.
 Во всплесках ее последних
 звучит безнадежная
 мертвость.
 Послушай меня, председатель,—
 ты сядешь в грязную лужу.
 Чем ужে в сетях ячейки,
 тебе, председатель, хуже.
 И если даже удастся
 тебе избежать позора,
 скажи, что будешь ты делать,
 когда опустеет Печора?
 Грохая тяжко крылами,
 лебеди пролетели.
 Хмуро глаза продирая,
 встает председатель артели.
 Он злится на сон проклятый:
 «Ладно, пусть будет мне хуже!»
 И зычно орет подручным:
 «Сделать ячейки уже!»
 Валайте спешите, ребята,
 киношники и репортеры,
 снимайте владыку Печоры,
 снимайте убийцу Печоры!

1964



ПАНОПТИКУМ В ГАМБУРГЕ

Полны величья грузного,
 надменны и кургузы,
 на коммуниста русского
 нахмурились курфюсты.
 Все президенты,
 канцлеры
 в многообразной пошлости
 глядят угрюмо,
 кастово,
 и кастовость их —
 в подлости.
 За то, что жизнь увечили,
 корежили,
 давили,
 их здесь увековечили,
 вернее,
 увосковили.
 В среду заплывших,
 жирных
 и тощих злобных монстров
 как вы попали,
 Шиллер,
 как вы попали,
 Моцарт?

Вам бы —
 в луга светающие,
вам бы —
 в цветы лесные...
Вы здесь —
 мои товарищи.
Враги —
 все остальные.
Враги глядят убийственно,
а для меня не гибельно,
что я не нравлюсь Бисмарку
и уж, конечно, Гитлеру.
Но вижу среди них,
как тени роковые,
врагов
 еще живых
фигуры восковые.
Вон там —
 один премьер,
вон там —
 другой премьер,
и этот —
 не пример,
и этот —
 не пример.
Верней, примеры,
 да,
но подлого,
 фальшивого...
Самих бы их сюда,
в паноптикум,
 за шиворот!
Расставить по местам —
пускай их обвоскуют.
По стольким подлецам
паноптикум тоскует!
Обрыдла их игра.
Довольно врать прохвостам!
Давно пришла пора
живых
 залить их воском.
Пусть он им склеит рты,
пусть он скует им руки.
И пусть замрут,

мертвы,
как паиньки,
 по струнке.
Я объявляю бунт.
Я призываю всех
их стаскивать с трибун
под общий свист и смех.
Побольше,
 люди,
 злости!
Пора всю сволочь с маху
из кресел,
 словно гвозди,
выдергивать со смаком.
Коллекцию их рож
пора под резкий луч.
Выуживать из лож,
что карасей из луж.
Пора в конце концов
избавиться от хлама.
В паноптикум
 ложецов —
жрецов из храма срама!
Подайте,
 люди,
 глас —
не будьте же безглазны!
В паноптикум —
 всех глав,
которые безглавы!
И если кто-то врет —
пусть даже и по-новому,
вы —
 воском ему в рот:
в паноптикум!
 В паноптикум!
Еще полно дерьяма,
ложецов на свете —
 войска.
Эй, пчелы,
 за дела! —
нам столько надо воска!

1963



* * *

У трусов малые возможности.
Молчаньем славы не добить.
И смелыми из осторожности
подчас приходится им быть.
И лезут в соколы ужи,
сменив, с учетом современности,
приспособленчество ко лжи
приспособленчеством ко смелости.

1956

ТРУСЛИВЫМ ДОБРЯКАМ

Не может добрый быть трусливым.
Кто трусит, тот не так уж добр.
Не стыдно ль за себя трястись вам
и забывать, что смелость — долг?!
«Добро должно быть с кулаками...»
А где же ваши кулаки?
Вы, кто зоветесь добряками,
вы подлецы, не добряки.
Когда друзей за правду били,
кастетом головы дробя,
вы их любили? Да, любили,
но вы любили... про себя.
Когда их те клеймили всуе,
кому б самим держать ответ,
из доброты не голосуя,
вы удалились в туалет.
А после, вам на удивленье,
всем неразумным напоказ,
нерасторопных, как тюленей,
поодиночке били вас.
Неужто же за столько лет
понять на шкурах не смогли вы:
кастет сильнее, чем эстет,
прекраснодушный и трусливый!
Вы вновь: «Что в драку лезть
с дерьяном!»
Дерьмо дерьяном, но мне сдается,
когда добро со злом не бьется,
оно не может быть добром.

1962





* * *

Интеллигенция поет блатные песни.
Поет она не песни Красной Пресни.
Дает под водку

и сухие вина
про ту же Мурку и про Енту и
раввина.

Поют
под шашлыки и под сосиски,
поют врачи,

артисты и артистки.
Поют в Пахре писатели на даче,
поют геологи

и атомщики даже.

Поют,
как будто общий уговор у
них

или как будто все из уголовников.
С тех пор,

когда я был еще
молоденький,
я не любил всегда
фольклор
ворья,
и революционная мелодия —
мелодия
ведущая

моя.
И я хочу без всякого расчета,
чтобы всегда алело высоко
от революционной песни что-то
в стихе

простом и крепком, как
древко...

1958



ЗЛОСТЬ

Добро должно быть с кулаками.
М. Светлов (из разговора).

Мне говорят,
качая головой:
«Ты подобрел бы...
Ты какой-то злой...»
Я добный был.
Недолго это было.
Меня ломала жизнь
и в зубы била.
Я жил
подобно глупому щенку.
Ударят —
вновь я подставлял щеку.
Хвост благодушья,
чтобы злой я был,
одним ударом
кто-то отрубил!
И я вам расскажу сейчас о злости,
о злости той,
с которой ходят в гости,
и разговоры чинные ведут,
и щипчиками
сахар в чай кладут.

Когда вы предлагаете мне чаю,
я не скучаю —
я вас изучаю,
из блюдечка я чай смиренно пью
и, когти пряча, руку подаю...
И я вам расскажу еще о злости...
Когда перед собранием шепчут:
«Бросьте...
Вы молодой,
и лучше вы пишите,
а в драку лезть
покамест не спешите», —
то я не уступаю
ни черта!
Быть злым к неправде — это доброта.
Предупреждаю вас:
я не излился.
И знайте —
я надолго разозлился.
И нету во мне робости былой.
И —
интересно жить,
когда ты злой!

1955

СОДЕРЖАНИЕ

Юмор	2
Милые люди	4
В гостинице провинциальной	6
Дитя-злодей	10
«Наполеон сказал: «Сарделек пару...»	13
Каннибал на курорте	14
Феня	15
Богатырь	16
Инфантилизм	18
В одной компашке	19
Воспоминание о Португалии	20
«Для повестей фриольных»...	22
Извините, некогда	24
Компромисс Компромиссович	25
Ревность	27
Тараканы	28
«Застенчивые» парни	30
Поэзия как шпионаж	31
Баллада о ласточке	32
Проклятие черной прессе	34
Баллада о браконьерстве	35
Паноптикум в Гамбурге	39
Грустивым добрякам	42
«У трусов малые возможности...»	43
«Интеллигенция поет блатные песни...»	45
Злость	46

ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕВТУШЕНКО

КОМПРОМИСС КОМПРОМИССОВИЧ

Редактор П. Ф. Хмарा.

Техн. редактор С. М. Вайсборд.

Сдано в набор 11.04.78. Подписано к печати 28.08.78.
А 01449. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага типографская № 2.
Гарнитура «школьная». Высокая печать.
Усл. печ. л. 2,10. Учетно-изд. л. 2,34. Тираж 75 000.
Изд. № 1768. Заказ № 2109. Цена 25 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции
типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина.
Москва, А-47. ГСП, ул. «Правды», 24.